ИВАН ТУРГЕНЕВ



Три портрета



Annotation

«Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей», — и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многолюднейших губерний России. Я окружен великим множеством соседушек, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине…

Иван Сергеевич Тургенев
Три портрета

«Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей», — и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многолюднейших губерний России. Я окружен великим множеством соседушек, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине. В числе всех этих дворян случайным образом открыл я, однако ж, одного весьма любезного малого: он прежде служил в военной службе, потом вышел в отставку и поселился на веки веков в деревне. По его рассказам, он служил два года в П — м полку; но я решительно не понимаю, как мог этот человек нести какую-нибудь обязанность не только в течение двух лет, по даже в продолжение двух дней. Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины», то есть для ленивого, беспечного прозябания, которое, замечу в скобках, не лишено великих и неистощимых прелестей. Он пользовался весьма порядочным состоянием: не заботясь слишком о хозяйстве, проживал около десяти тысяч рублей в год, достал себе прекрасного повара (мой приятель любил хорошо покушать); также выписывал себе из Москвы новейшие французские книги и журналы. По-русски же читал он одни лишь донесения своего приказчика, и то с большим трудом. Он с утра (если не уезжал на охоту) до обеда и за обедом не покидал халата; перебирал какие-нибудь хозяйственные рисунки, не то отправлялся на конюшню или в молотильный сарай и пересмеивался с бабами, которые при нем взмахивали цепами, как говорится, спрохвала́. После обеда мой друг одевался перед зеркалом весьма тщательно и ехал к какому-нибудь соседу, одаренному двумя или тремя хорошенькими дочками; беспечно и миролюбиво волочился за одной из них, играл с ними в жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчас же засыпал богатырским

сном. Он скучать не мог, потому что никогда не предавался полному бездействию; а на выбор занятий не был прихотлив и, как ребенок, тешился малейшей безделицей. С другой стороны — особенной привязанности к жизни он не чувствовал и, бывало, когда приходилось *перескакивать* волка или лисицу, — пускал свою лошадь во всю прыть по таким рытвинам, что я до сих пор понять не могу, как он себе сто раз не сломал шеи. Он принадлежал к числу тех людей, которые возбуждают в вас мысль, что они сами себе не знают цены, что под их наружным равнодушием скрываются сильные и великие страсти; но он бы рассмеялся вам в нос, если б мог догадаться, что вы питаете о нем подобное мнение; да и, признаться сказать, я сам думаю, что если и водилось за моим приятелем в молодости какое-нибудь хотя не ясное, но сильное стремление к тому, что весьма мило названо «чем-то высшим», то это стремление давным-давно в нем угомонилось и *зачичкало.* Он был довольно толст и наслаждался превосходным здоровьем. В наш век нельзя не любить людей, мало помышляющих о самих себе, потому что они чрезвычайно редки… а мой приятель едва ли не забыл о своей особе. Впрочем, я, кажется, уже слишком много говорю о нем, — и моя болтовня тем более неуместна, что не он служит предметом моего рассказа. Его звали Петром Федоровичем Лучиновым.

В один осенний день съехалось нас человек пять записных охотников у Петра Федоровича. Целое утро мы провели в поле, затравили двух волков и множество зайцев и вернулись домой в том восхитительно приятном расположении духа, которое овладевает всяким порядочным человеком после удачной охоты. Смеркалось. Ветер разыгрывался в темных полях и шумно колебал обнаженные вершины берез и лип, окружавших дом Лучинова. Мы приехали, слезли с коней… на крыльце я остановился и оглянулся: по серому небу тяжко ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел; желтая трава бессильно и печально пригибалась к земле; стаи дроздов перелетывали по рябинам, осыпанным ярко-пунцовыми гроздьями; в тонких и ломких сучьях берез с свистом попрыгивали синицы; на деревне сипло лаяли собаки. Мне стало грустно… зато я с истинной отрадой вошел в столовую. Ставни были заперты; на круглом столе, покрытом скатертью ослепительной белизны, среди хрустальных графинов, наполненных

красным вином, горело восемь свечей в серебряных подсвечниках; в камине весело пылал огонь — и старый, весьма благообразный дворецкий, с огромной лысиной, одетый по-английски, стоял в почтительной неподвижности перед другим столом, на котором уже красовалась большая суповая чаша, обвитая легким и пахучим паром. В сенцах мы прошли мимо другого почтенного человека, занятого морожением шампанского — «по строгим правилам искусства». Обед был, как водится в подобных случаях, чрезвычайно приятный; мы хохотали, рассказывали происшествия, случившиеся на охоте, и с восторгом упоминали о двух знаменитых «угонках». Покушавши довольно плотно, расположились мы в широких креслах около камина; на столе появилась объемистая серебряная чаша, и через несколько мгновений беглое пламя запылавшего рома возвестило нам о приятном намерении хозяина «сотворить жженку». Петр Федорович был человек не без вкуса; он, например, знал, что ничего не действует так убийственно на фантазию, как ровный, холодный и педантический свет ламп, — потому велел оставить в комнате всего две свечи. Странные полутени трепетали по стенам, произведенные прихотливою игрою огня в камине и пламенем жженки… Тихая, чрезвычайно приятная отрада заменила в наших сердцах несколько буйную веселость, господствовавшую за обедом.

Разговоры имеют свои судьбы — как книги (по латинской пословице), как всё на свете. Наш разговор в этот вечер был как-то особенно разнообразен и жив. От частностей восходил он к довольно важным общим вопросам, легко и непринужденно возвращался к ежедневностям жизни… Поболтавши довольно много, мы вдруг все замолчали. В то время, говорят, пролетает тихий ангел.

Не знаю, отчего мои товарищи затихли, но я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех запыленных портретах в черных деревянных рамках. Краски истерлись и кое-где покоробились, но лица можно было еще разобрать. На середнем портрете изображена была женщина молодых лет, в белом платье с кружевными каемками, в высокой прическе восьмидесятых годов. Направо от нее, на совершенно черном фоне виднелось круглое и толстое лицо доброго русского помещика лет двадцати пяти, с низким и широким лбом, тупым носом и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась с выражением его славянского лица.

Живописец изобразил его в кафтане алого цвета с большими стразовыми пуговицами; в руке держал он какой-то небывалый цветок. На третьем портрете, писанном другою, более искусною рукою, был представлен человек лет тридцати, в зеленом мундире екатерининского времени, с красными отворотами, в белом камзоле, в тонком батистовом галстухе. Одной рукой опирался он на трость с золотым набалдашником, другую заложил за камзол. Его смуглое, худощавое лицо дышало дерзкою надменностью. Тонкие длинные брови почти срастались над черными как смоль глазами; на бледных, едва заметных губах играла недобрая улыбка.

— Что вы это загляделись на эти лица? — спросил меня Петр Федорович.

— Так! — отвечал я, посмотрев на него.

— Хотите ли выслушать целый рассказ об этих трех особах?

— Сделайте одолжение, — отвечали мы в один голос.

Петр Федорович встал, взял свечку, поднес ее к портретам и голосом человека, показывающего диких зверей, «Господа! — провозгласил он, — эта дама — приемыш моего родного прадедушки, Ольга Ивановна NN., прозванная Лучиновой, умершая лет сорок тому назад, в девицах. Этот господин, — показывая на портрет мужчины в мундире, — гвардии сержант, Василий Иванович Лучинов же, скончавшийся волею божиею в тысяча семьсот девяностом году; а этот господин, с которым я не имею чести состоять в родстве, некто Павел Афанасьевич Рогачев, нигде, сколько мне известно, не служивший. Извольте обратить внимание на дыру, находящуюся у него на груди, на самом месте сердца. Эта дыра, как вы видите, правильная, трехгранная, вероятно, не могла произойти случайно… Теперь, — продолжал он обыкновенным своим голосом, — извольте усесться, вооружитесь терпением и слушайте».

— Господа! — начал он, — я происхожу от довольно старинного рода. Я моим происхождением не горжусь, потому что мои предки были все страшные мотыги. Впрочем, этот упрек не относится к моему прадеду, Ивану Андреевичу Лучинову, — напротив: он слыл за человека чрезвычайно бережливого и даже скупого — по крайней мере, в последние годы своей жизни. Он провел свою молодость в Петербурге и был свидетелем царствования Елизаветы. В Петербурге он женился и прижил с своей женой, а моей прабабушкой, четырех

человек детей — трех сыновей, Василия, Ивана и Павла (моего родного деда), и одну дочь, Наталью. Сверх того, Иван Андреевич принял к себе в семейство дочь одного отдаленного родственника, круглую безымянную сироту — Ольгу Ивановну, о которой я уже вам говорил. Подданные моего дедушки, вероятно, знали о его существовании, потому что высылали к нему (когда не случалось особого несчастия) весьма незначительный оброк — но никогда в лицо его не видали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицезрения своего господина, процветало, — как вдруг, в одно прекрасное утро, тяжелая колымага въехала в деревню и остановилась перед избой старосты. Мужики, встревоженные таким небывалым происшествием, сбежались и увидали своего барина, барыню и всех их чад, исключая старшего, Василия, оставшегося в Петербурге. С того достопамятного дня и до самой своей кончины Иван Андреевич не выезжал из Лучиновки. Он выстроил себе дом, тот самый, в котором я теперь имею удовольствие беседовать с вами; построил также церковь и начал жить помещиком. Иван Андреевич был человек огромного роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всех своих движениях; никогда не носил халата, и никто, исключая его камердинера, не видал его ненапудренным. Иван Андреевич обыкновенно ходил, заложа руки за спину, медленно поворачивая голову при каждом шаге. Всякий день прогуливался он по длинной липовой аллее, которую сам собственноручно насадил, — и перед смертью имел удовольствие пользоваться тенью этих лип. Иван Андреевич был чрезвычайно скуп на слова; доказательством его молчаливости служит то замечательное обстоятельство, что он в течение двадцати лет не сказал ни одного слова своей супруге, Анне Павловне. Вообще его отношения к Анне Павловне были весьма странного рода. Она заведовала всем домашним хозяйством, за обедом сидела всегда возле своего мужа — он нещадно наказал бы человека, который осмелился бы сказать ей одно непочтительное слово, — а между тем сам с ней никогда не говорил, не прикасался к ее руке. Анна Павловна была робкая, бледная, убитая женщина; каждый день молилась в церкви на коленях и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, то есть до приезда в деревню, жили в большем ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружеские обязанности, что муж узнал о ее проступке… Как бы то ни было, но Иван Андреевич, даже умирая, не

примирился с ней. Во время последней его болезни она не отлучалась от него; но он, казалось, ее не замечал. В одну ночь Анна Павловна сидела в спальне Ивана Андреевича; его мучила бессонница; лампада горела перед образом; слуга моего дедушки, Юдич, о котором я вам впоследствии скажу два слова, вышел. Анна Павловна встала, перешла через комнату и, рыдая, бросилась на колени перед постелью мужа, хотела что-то сказать — протянула руки… Иван Андреевич посмотрел на нее — и слабым голосом, но твердо закричал: «Человек!» Слуга вошел, Анна Павловна поспешно встала и, шатаясь, возвратилась на свое место.

Дети Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли в деревне и были свидетелями странного обхождения Ивана Андреевича с своей женою. Они все страстно любили Анну Павловну, но не смели высказать свою любовь. Она сама как будто их чуждалась… Вы помните, господа, моего деда: он до самой смерти всегда ходил на цыпочках и говорил шепотом… что значит привычка! Мой дед и брат его, Иван Иванович, были люди простые, добрые, смирные и грустные; моя grand’tante[1] Наталья вышла, как вам известно, замуж за грубого и глупого человека и до смерти питала к нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь. Но не таков был брат их Василий. Я вам, кажется, сказывал, что Иван Андреевич оставил его в Петербурге. Ему было тогда лет двенадцать. Отец поручил его попечениям одного отдаленного родственника, человека уже не молодого, холостого, страшного вольтерьянца.

Василий вырос, поступил на службу. Он был не велик ростом, но хорошо сложен и чрезвычайно ловок; прекрасно говорил по-французски и славился своим уменьем драться на шпагах. Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины. Отец мой мне часто говаривал, что он знавал не одну старушку, которая без сердечного умиления вспомнить не могла о Василье Ивановиче Лучинове. Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли, страстного и расчетливого, терпеливого и смелого, скрытного до чрезвычайности и — по словам всех его современников — очаровательно, обаятельно любезного. В нем не было ни совести, ни доброты, ни честности, хотя никто же не мог назвать его положительно злым человеком. Он был самолюбив — но умел таить свое самолюбие и страстно любил независимость. Когда,

бывало, Василий Иванович, улыбаясь, ласково прищурит черные глаза, когда захочет пленить кого-нибудь, говорят, невозможно ему было противиться — и даже люди, уверенные в сухости и холодности его души, не раз поддавались чарующему могуществу его влияния. Он усердно служил самому себе и других заставлял трудиться для своих же выгод, и всегда во всем успевал, потому что никогда не терял головы, не гнушался лести как средства и умел льстить.

Лет десять спустя после поселения Ивана Андреевича в деревне приехал он на четыре месяца в Лучиновку блестящим гвардейским офицером — и в течение этого времени успел вскружить голову даже угрюмому старику, отцу своему. Странно! Иван Андреевич с наслаждением слушал рассказы своего сына о некоторых его *победах*. Братья его немели перед ним и удивлялись ему, как существу высшему. Да и сама Анна Павловна едва ли не полюбила его более всех других детей, так искренно ей преданных…

Василий Иванович приехал в деревню, во-первых, для того, чтобы повидаться с родными, но, во-вторых, и для того, чтобы достать как можно более денег от отца. Он жил пышно и открыто в Петербурге и наделал множество долгов. Нелегко ему было сладить со скупостью родителя, и хоть Иван Андреевич дал ему в один его приезд, вероятно, гораздо более денег, чем всем другим своим сыновьям в продолжение двадцати лет, прожитых ими в родительском доме, но Василий держался известного русского правила: «Брать так брать!» У Ивана Андреевича был слуга, по прозванию Юдич, такой же высокий, худой и молчаливый человек, как сам его барин. Говорят, этот Юдич был отчасти причиной странного обращения Ивана Андреевича с Анной Павловной: говорят, он открыл преступную связь моей прабабушки с одним из лучших приятелей моего прадеда. Вероятно, Юдич глубоко раскаялся в своей неуместной ревности, потому что трудно вообразить себе более доброго человека. Память его до сих пор священна всем моим дворовым людям. Юдич пользовался неограниченною доверенностью моего прадеда. В то время помещики имели деньги, но не отдавали их на сбережение в заемные учреждения, а сами хранили их в сундуках, в подполицах и т. д. Иван Андреевич держал все свои деньги в большом кованом сундуке, находившемся у него под изголовьем. Ключ от этого сундука был отдан Юдичу. Каждый вечер, ложась спать, Иван Андреевич при себе приказывал отпирать этот

сундук, постукивал палкой поочередно по всем туго набитым мешкам, а по субботам сам с Юдичем развязывал мешки и тщательно пересчитывал деньги. Василий проведал о всех этих проделках и возгорел желанием потревожить заветный сундучок. В течение пяти-шести дней он *умягчил* Юдича, то есть довел бедного старика до того, что тот в молодом барине, как говорится, души не чаял. Подготовив его надлежащим образом, Василий прикинулся озабоченным и мрачным, долго не хотел отвечать на расспросы Юдича и наконец сказал ему, что он проигрался и что наложит на себя руки, если не достанет где-нибудь денег. Юдич зарыдал, бросился перед ним на колени, просил вспомнить бога, не губить себя. Василий, не говоря ни слова, заперся в своей комнате. Через несколько времени услышал он, что кто-то осторожно к нему стучится; он отпер дверь и увидел на пороге Юдича, бледного, трепещущего, с ключом в руке. Василий тотчас все понял. Сперва он долго отказывался. Юдич со слезами твердил: «Извольте, барин! возьмите…» Василий наконец согласился. Дело было в понедельник. Василью пришла в голову мысль заменить вынутые деньги битыми черепками. Он рассчитывал на то, что Иван Андреевич, постукивая по мешкам палкой, не обратит особенного внимания на едва заметное различие звука, а до субботы он надеялся достать и вложить обратно деньги в сундук. Придумано — сделано. Отец действительно ничего не заметил. Но к субботе Василий денег не достал: он надеялся на взятые деньги обыграть одного богатого соседа — и, напротив, сам все проиграл. Между тем настала суббота; дошла очередь и до мешков, набитых черепками. Представьте себе, господа, удивление и негодование Ивана Андреевича!

— Это что значит? — загремел он.

Юдич молчал.

— Ты украл эти деньги?

— Никак нет-с.

— Так кто-нибудь ключ у тебя брал?

— Я никому не отдавал ключа.

— Никому? А когда никому — так ты вор. Сознавайся!

— Я не вор, Иван Андреевич.

— Откуда ж взялись эти черепки, черт возьми! Так-то ты меня обманываешь? В последний раз говорю тебе — сознавайся!

Юдич потупил голову и сложил руки за спиной.

— Эй, люди! — закричал Иван Андреевич исступленным голосом. — Палок!

— Как? меня… наказывать? — прошептал Юдич.

— Вот тебе на! да чем ты лучше других? Ты вор! Ну, Юдич! не ожидал я от тебя такого мошенничества!

— Я поседел на вашей службе, Иван Андреевич, — проговорил с усилием Юдич.

— А мне что за дело до твоих седых волос? Черт бы тебя побрал с твоей службой!

Люди вошли.

— Возьмите-ка его, да хорошенько!

У Ивана Андреевича побледнели и затряслись губы. Он ходил по комнате, как дикий зверь в тесной клетке.

Люди не смели исполнить его приказания.

— Что же вы стоите, хамовы дети? Иль мне самому за него приняться, что ли?

Юдич пошел было к двери…

— Стойте! — закричал Иван Андреевич. — Юдич, в последний раз говорю тебе, прошу тебя, Юдич, сознайся.

— Не могу! — простонал Юдич.

— Так берите же его, старого подлипалу!.. Насмерть его! В мою голову! — загремел бешеный старик. Истязание началось…

Дверь вдруг растворилась, и вошел Василий. Он был едва ли еще не бледнее отца, руки его дрожали, верхняя губа приподнялась и обнажила ряд белых и ровных зубов.

— Я виноват, — сказал он глухим, но твердым голосом. — Я взял эти деньги.

Люди остановились.

— Ты! как? ты, Васька! без согласия Юдича?

— Нет! — сказал Юдич, — с моего согласия. Я сам отдал ключ Василью Ивановичу. Батюшка, Василий Иванович! зачем вы изволили беспокоиться?

— Так вот кто вор! — закричал Иван Андреевич. — Спасибо, Василий, спасибо! А тебя, Юдич, я все-таки не помилую. Зачем ты мне тотчас же во всем не сознался? Эй, вы! что вы стали? или уже и вы моей власти не признаете? А с тобой я справлюсь, голубчик! — прибавил он, обращаясь к Василью.

Люди опять было взялись за Юдича.

— Не трогайте его! — прошептал Василий сквозь зубы. Слуги его не послушались. — Назад! — закричал он и бросился на них… Они отшатнулись.

— А! бунтовать! — простонал Иван Андреевич и, подняв палку, пошел на сына.

Василий отскочил, схватился за рукоять шпаги и обнажил ее до половины. Все затрепетали. Анна Павловна, привлеченная шумом, испуганная, бледная, показалась в дверях.

Страшно изменилось лицо Ивана Андреевича. Он зашатался, уронил палку и тяжко опустился на кресло, закрыв лицо обеими руками. Никто не шевелился, все стояли как вкопанные, не исключая и Василья. Судорожно стискивал он стальную рукоять шпаги, глаза его сверкали унылым, злобным блеском…

— Подите все… все вон, — проговорил тихим голосом Иван Андреевич, не отнимая рук от лица.

Вся толпа вышла. Василий остановился на пороге, потом вдруг тряхнул головой, обнял Юдича, поцеловал руку матери… и через два часа его уже не было в деревне. Он уехал в Петербург.

Вечером того же дня Юдич сидел на крылечке дворовой избы. Люди окружали его, сожалели о нем и горько упрекали барина.

— Полноте, дети, — сказал он им наконец, — полноте… что вы его браните? он и сам, чай, батюшка наш, своей удали не рад…

Вследствие этого происшествия Василий уже более не видался с своим родителем. Иван Андреевич умер без него, и умер, вероятно, с такой тоской на сердце, какую не дай бог испытать кому-либо из нас. Василий Иванович между тем выезжал, веселился по-своему и сорил деньгами. Как он добывал эти деньги, не могу наверное сказать. Достал он себе слугу-француза, ловкого и смышленого малого, некоего Бурсье. Этот человек страстно к нему привязался и помогал ему во всех его многочисленных проделках. Я не намерен рассказывать вам в подробности все проказы моего grand’oncle[2]; он отличался такой неограниченной смелостью, такой змеиной изворотливостью, таким непостижимым хладнокровием, таким ловким и тонким умом, что, признаюсь, я понимаю неограниченную власть этого безнравственного человека над самыми благородными душами…

Вскоре после смерти отца Василий Иванович, несмотря на свою изворотливость, был вызван на дуэль одним оскорбленным мужем. Он дрался, тяжело ранил своего соперника и принужден был выехать из столицы; ему приказали безвыездно жить в своем поместье. Василию Ивановичу было тридцать лет. Вы легко можете себе представить, господа, с какими чувствами этот человек, привыкший к столичной, блестящей жизни, ехал на родину. Говорят, он на дороге часто выходил из кибитки, бросался лицом в снег и плакал. Никто в Лучиновке не узнавал прежнего веселого, любезного Василия Ивановича. Он ни с кем не говорил, с утра до вечера ездил на охоту, с видимым нетерпением сносил робкие ласки своей матери и безжалостно насмехался над братьями, над их женами (они уже оба успели жениться)…

Я вам до сих пор, кажется, ничего не сказал об Ольге Ивановне. Грудным ребенком привезли ее в Лучиновку; она чуть-чуть не умерла на дороге. Ольга Ивановна была воспитана, как говорится, в страхе божием и родительском… надобно сознаться, что Иван Андреевич и Анна Павловна — оба обращались с ней, как с дочерью. Но в ней таилась слабая искра того огня, который так ярко пылал в душе Василья Ивановича. Между тем как настоящие дети Ивана Андреевича не дерзали помышлять о причинах странного, безмолвного раздора между их родителями, — Ольгу с ранних лет тревожило и мучило положение Анны Павловны. Подобно Василью, она любила независимость; всякое притеснение ее возмущало. Она всеми силами души привязалась к своей благодетельнице; старика Лучинова она ненавидела и не раз, сидя за столом, устремляла на него такие мрачные взгляды, что даже человеку, подававшему кушанье, становилось жутко. Иван Андреевич не замечал всех этих взглядов, потому что вообще не обращал никакого внимания на свое семейство.

Сперва Анна Павловна старалась истребить в ней эту ненависть, но некоторые смелые вопросы Ольги заставили ее замолчать совершенно. Дети Ивана Андреевича обожали Ольгу, и старуха ее любила тоже, хотя довольно холодной любовью.

Продолжительное горе подавило в этой бедной женщине всякую веселость, всякое сильное чувство; ничего так ясно не доказывает очаровательной любезности Василья, как то, что он даже мать свою заставил горячо полюбить себя. Излияния детской нежности не были в

духе того времени, а потому не удивительно, что Ольга не смела обнаруживать свою приверженность, хотя всегда с особенной почтительностью целовала руку Анны Павловны вечером, при прощании. Читать и писать она едва умела. Двадцать лет спустя русские девицы начали почитывать романы вроде Похождений маркиза Глаголя, Фанфана и Лолоты, Алексея, или Хижины в лесу; начали учиться на клавикордах и петь песни вроде следующей, некогда весьма известной:

Мужчины на свете
Как мухи к нам льнут — и т. д.,

но в семидесятых годах (Ольга Ивановна родилась в 1757 году) наши деревенские красавицы не имели понятия обо всех этих усовершенствованиях. Трудно нам теперь себе представить русскую барышню того века; правда, мы можем, по нашим бабушкам, судить о степени образованности дворянок времен Екатерины; но как прикажете отличить то, что постепенно к ним привилось в течение их долгой жизни, от того, чем они были во дни молодости?

Ольга Ивановна несколько говорила по-французски — но с сильным русским произношением: в ее время об эмигрантах не было еще и помина. Словом, при всех ее хороших качествах, она все-таки была порядочным *дичком* — и, пожалуй, в простоте сердца своего из собственных рук не раз наказывала какую-нибудь злополучную горничную…

За несколько времени до приезда Василия Ивановича Ольгу Ивановну сговорили за соседа — Павла Афанасьевича Рогачева, добрейшего и честнейшего человека. Природа позабыла наделить его желчью. Собственные люди не слушались его, уходили иногда все, от первого до последнего, и оставляли бедного Рогачева без обеда… но ничто не могло возмутить тишину его души. Он с детских лет отличался толстотою и неповоротливостию, нигде не служил, любил ходить в церковь и петь на клиросе. Посмотрите, господа, на это доброе, круглое лицо; вглядитесь в эту тихую, светлую улыбку… не правда ли, вам самим становится отрадно? Отец его в кои-то веки езжал в Лучиновку и по праздникам привозил с собой Павлушу,

которого маленькие Лучиновы всячески терзали. Павлуша вырос, начал сам ездить к Ивану Андреевичу, влюбился в Ольгу Ивановну и предложил ей руку и сердце — не лично ей, а ее благодетелям. Благодетели согласились. У Ольги Ивановны даже не подумали спросить: нравится ли ей Рогачев? В то время, по словам моей бабушки, «таких роскошей не водилось». Впрочем, Ольга скоро привыкла к своему жениху; нельзя было не привязаться к этому кроткому, снисходительному созданию. Воспитания Рогачев не получил никакого; по-французски умел только сказать: «бонжур» — и втайне почитал даже это слово неприличным. Да еще какой-то шутник выучил его следующей, будто бы французской песне: «Сонечка, Сонечка! Ке вуле ву де муа — я вас обожаю — ме же не пё па…» Эту песенку он всегда напевал вполголоса, когда чувствовал себя в духе. Отец его был тоже человек доброты неописанной; вечно ходил в длинном нанковом сюртуке и, что бы ему ни говорили, — на все с улыбкой поддакивал. Со времени помолвки Павла Афанасьевича оба Рогачевы — отец и сын — хлопотали страшно; переделывали свой дом, пристроивали разные «галдареи», дружелюбно разговаривали с работниками, потчевали их водкою. К зиме не успели окончить все постройки — отложили свадьбу до лета; летом умер Иван Андреевич — отложили свадьбу до будущей весны; зимой приехал Василий Иванович. Ему представили Рогачева; он принял его холодно и небрежно и в последствии времени до того запугал его своим надменным обхождением, что бедный Рогачев трепетал как лист при одном его появлении, молчал и принужденно улыбался. Василий раз чуть-чуть не уходил его совершенно, предложив ему пари, что он, Рогачев, не в состоянии перестать улыбаться. Бедный Павел Афанасьевич едва не заплакал от замешательства, но — действительно! — улыбка, глупейшая, напряженная улыбка не хотела сойти с его вспотевшего лица! А Василий медленно поигрывал концами своего шейного платка и поглядывал на него уж чересчур презрительно. Отец Павла Афанасьевича узнал также о прибытии Василия и спустя несколько дней — для «большей важности» — отправился в Лучиновку с намерением «поздравить любезного гостя с прибытием в родные палестины». Афанасий Лукич славился во всем околотке своим красноречием, то есть уменьем, не запинаясь, произнести довольно длинную и хитро сплетенную речь, с легкой

примесью книжных словечек. Увы! на этот раз он не поддержал своей славы: смутился гораздо более сына своего, Павла Афанасьевича; пробормотал что-то весьма невнятное и хотя отроду не пивал водки, но тут «для контенансу»[3], выпив рюмочку (он застал Василия за завтраком), хотел было по крайней мере крякнуть с некоторою самостоятельностью — и не произвел ни малейшего звука. Уезжая домой, Павел Афанасьевич шепнул своему родителю: «Что-с, батюшка?» Афанасий Лукич с досадой отвечал ему, также шепотом: «И не говори!»

Рогачевы начали реже ездить в Лучиновку. Впрочем, Василий застращал не их одних; в братьях своих, в их женах, даже в самой Анне Павловне возбуждал он тоскливую, невольную неловкость… они стали всячески избегать его; Василий не мог этого не заметить, но, по-видимому, не имел намеренья переменить свое обращение с ними, как вдруг в начале весны он явился опять тем любезным, милым человеком, каким его прежде знали…

Первым проявлением этой внезапной перемены был неожиданный приезд Василия к Рогачевым. Афанасий Лукич в особенности порядком струсил при виде коляски Лучинова, но испуг его исчез весьма скоро. Никогда Василий не был любезнее и веселее. Он взял молодого Рогачева под руку, пошел с ним осматривать постройки, толковал с плотниками, давал им советы, делал сам нарубки топором, велел себе показать заводских лошадей Афанасья Лукича, сам гонял их на корде — и вообще своей радушной любезностью довел добрых степняков до того, что они оба неоднократно его обняли. Дома Василий тоже в несколько дней по-прежнему вскружил всем головы: затеял разные смешные игры, достал музыкантов, на́звал соседей и соседок, рассказывал старушкам самым потешным образом городские сплетни, слегка волочился за молодыми, придумывал небывалые увеселения, фейерверки и т. д., словом, оживил всё и всех. Печальный, мрачный дом Лучиновых превратился вдруг в какое-то шумное, блестящее, очарованное жилище, о котором заговорил весь околоток. Эта внезапная перемена удивила многих, всех обрадовала; начали носиться разные слухи; знающие люди говорили, что Василья Ивановича до тех пор сокрушала какая-то скрытая забота, что ему представилась возможность возвратиться в

столицу… но до истинной причины перерождения Василья Ивановича не добрался никто.

Ольга Ивановна, господа, была очень недурна собой. Впрочем, ее красота состояла более в необыкновенной нежности и свежести тела, в спокойной прелести движений, чем в строгой правильности очертаний. Природа одарила ее некоторой самобытностью; ее воспитанье — она выросла сиротой — развило в ней осторожность и твердость. Ольга не принадлежала к числу тихих и вялых барышень; но одно лишь чувство в ней созрело вполне: ненависть к благодетелю. Впрочем, и другие, более женские страсти могли вспыхнуть в душе Ольги Ивановны с необычайной, болезненной силой… но в ней не было ни того гордого холода, ни той сжатой крепости души, ни той самолюбивой сосредоточенности, без которых всякая страсть исчезает весьма быстро. Первые порывы таких полудеятельных, полустрадательных душ бывают иногда необыкновенно стремительны; но они изменяют самим себе весьма скоро, особенно когда дело дойдет до безжалостного применения принятых правил; они боятся последовательности… И между тем, господа, признаюсь вам откровенно: на меня женщины такого рода производят сильнейшее впечатление… (При этих словах рассказчик опорожнил стакан воды. «Пустяки, пустяки! — подумал я, глядя на его круглый подбородок, — на тебя, любезный друг, ничто в свете не производит „сильнейшего впечатления“…»).

Петр Федорович продолжал:

— Господа, я верю в кровь, в породу. В Ольге Ивановне было более крови, чем, например, в нареченной ее сестрице — Наталье. В чем же проявлялась эта «кровь», спросите вы меня? Да во всем: в очерках рук, губ, в звуке голоса, во взгляде, в походке, в прическе, — в складках платья, наконец. Во всех этих безделках таилось что-то особенное, хотя я должен признаться, что та… как бы выразиться?.. та distinction[4], которая доставалась на долю Ольге Ивановне, не привлекла бы внимания Василья, если б он встретился с нею в Петербурге. В деревне же, в глуши, она не только возбудила его вниманье, но и даже вообще была единственной причиной той перемены, о которой я говорил выше.

Судите сами: Василий Иванович любил наслаждаться жизнью; он не мог не скучать в деревне; братья его были добрые ребята, но весьма

ограниченные люди: он ничего не имел с ними общего; сестра его Наталья в течение трех лет прижила с своим супругом четырех человек детей: между ней и Васильем была целая бездна… Анна Павловна ходила в церковь, молилась, постилась и готовилась к смерти. Оставалась одна Ольга, свежая, робкая, миленькая девочка… Василий ее сперва не заметил… да и кто обращает вниманье на воспитанницу, на сироту, на приемыша?.. Однажды, в самом начале весны, шел он по саду и тросточкой сбивал головки цикорий, этих глупеньких желтых цветков, которые в таком множестве первые появляются на едва зеленеющих лугах. Он гулял по саду, перед домом, поднял голову — и увидал Ольгу Ивановну. Она сидела боком у окна и задумчиво гладила полосатого котенка, который, мурлыча и жмурясь, угнездился на ее коленях и с большим удовольствием подставлял свой носик весеннему, уже довольно яркому солнцу. На Ольге Ивановне было белое утреннее платье с короткими рукавами; ее голые, бледно-розовые, не вполне развитые плечи и руки дышали свежестью и здоровьем; небольшой чепчик осторожно сжимал ее густые, мягкие, шелковистые локоны; лицо слегка пылало: она недавно проснулась. Ее тонкая и гибкая шея так мило подавалась вперед; так пленительно небрежно, так стыдливо отдыхал ее незатянутый стан, что Василий Иванович (большой знаток!) невольно остановился и загляделся. Ему вдруг пришло в голову, что не следует оставлять Ольгу Ивановну в ее первобытном невежестве; что из нее может со временем выйти премилая и прелюбезная женщина. Он подкрался к окну, поднялся на цыпочки и на белой и гладкой руке Ольги Ивановны, немного пониже локтя, напечатлел безмолвный поцелуй. Ольга вскрикнула и вскочила, котенок поднял хвост и прыгнул в сад, Василий Иванович с улыбкой удержал ее за руку… Ольга покраснела вся до ушей; он начал шутить над ее испугом… звал ее гулять с собой; но вдруг Ольга Ивановна заметила небрежность своего наряда — и «быстрее быстрой лани» улизнула в другую комнату.

В тот же самый день Василий отправился к Рогачевым. Он вдруг повеселел и просветлел духом. Василий не полюбил Ольгу, нет! — словом «любовь» шутить не надобно… Он нашел себе занятие, поставил себе задачу и радовался радостью деятельного человека. Он и не вспомнил о том, что она — воспитанница его матери, невеста другого; он ни на один миг не обманывал себя; он очень хорошо знал,

что ей не быть его женой… Может быть, его извиняла страсть — правда, не возвышенная, не благородная, но все-таки довольно сильная и мучительная страсть. Разумеется, он влюбился не как ребенок; он не предавался неопределенным восторгам; он очень знал, чего он хотел и к чему он стремился.

Василий Иванович вполне владел способностью в самое короткое время приучить к себе другого, даже предубежденного или робкого, человека. Ольга скоро перестала его дичиться. Василий Иванович ввел ее в новый мир. Он выписал для нее клавикорды, давал ей музыкальные уроки (он сам порядочно играл на флейте), читал ей книги, долго разговаривал с ней… Голова закружилась у бедной степнячки. Василий совершенно покорил ее. Он умел говорить с ней о том, что до того времени ей было чуждым, и говорить языком, ей понятным. Ольга понемногу решалась высказывать ему свои чувства; он помогал ей, подсказывал ей слова, которых она не находила, не запугивал ее; то удерживал, то поощрял ее порывы… Василий занимался ее воспитанием не из бескорыстного желания разбудить и развить ее способности; он просто хотел ее несколько к себе приблизить и знал притом, что неопытную, робкую, но самолюбивую девушку легче завлечь умом, чем сердцем. Если б Ольга была даже существом необыкновенным, Василий никак бы не мог этого заметить, потому что он обращался с ней, как с ребенком; но вы уже знаете, господа, что в Ольге особенно замечательного ничего не было. Василий старался по возможности действовать на ее воображение, и часто вечером она уходила от него с таким вихрем новых образов, слов и мыслей в голове, что не в состоянии была заснуть до зари и, тоскливо вздыхая, беспрестанно прикладывала горящие щеки к холодным подушкам или вставала, подходила к окну и пугливо и жадно глядела в темную даль. Василий наполнял каждое мгновенье ее жизни, ни о ком другом она думать не могла. Рогачева она скоро даже перестала замечать. Василий, как человек ловкий и хитрый, в его присутствии не говорил с Ольгой; но либо смешил его самого до слез, либо затевал какую-нибудь шумную игру, прогулку верхом, катанье ночью по реке с факелами и музыкой — словом, не давал опомниться Павлу Афанасьевичу. Однако, несмотря на всю ловкость Василья Ивановича, Рогачев смутно почувствовал, что он, жених и будущий муж Ольги, как будто стал для нее чужим человеком… но, по

бесконечной своей доброте, боялся огорчить ее упреком, хотя действительно любил ее и дорожил ее привязанностью. Наедине с ней он не знал, что заговорить, и только старался всячески прислуживаться. Прошло два месяца. В Ольге исчезла наконец всякая самостоятельность, всякая воля; слабый и молчаливый Рогачев не мог служить ей опорой; она даже не хотела противиться обаянью и с замирающим сердцем безусловно отдалась Василью…

Ольга Ивановна, вероятно, узнала тогда радости любви; но ненадолго. Хотя Василий — за неимением другого занятия — не только не бросил ее, но даже привязался к ней и заботливо ее лелеял, но сама Ольга до того потерялась, что даже в любви не находила блаженства, и все-таки не могла оторваться от Василья. Она стала всего бояться, не смела думать; не разговаривала ни о чем; перестала читать; тоска ее грызла. Иногда удавалось Василью увлечь ее за собою и заставить позабыть всех и всё; но на другой же день он находил ее бледной, безмолвной, с похолодевшими руками, с бессмысленной улыбкой на губах… Настало довольно трудное время для Василия; но никакие трудности запугать его не могли. Он весь сосредоточился, как опытный игрок. Он нисколько не мог полагаться на Ольгу Ивановну; она беспрестанно себе изменяла, бледнела, краснела и плакала… ее новая роль не пришлась ей по силам. Василий работал за двух; в его буйном и шумном веселье только опытный наблюдатель мог бы заметить лихорадочную напряженность; он играл братьями, сестрами, Рогачевыми, соседями, соседками — как пешками; вечно был настороже, не терял ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнейшим человеком; каждое утро вступал в сражение и каждый вечер торжествовал победу. Он нисколько не тяготился такой страшной деятельностью; спал четыре часа в сутки, ел очень мало и был здоров, свеж и весел. Между тем день свадьбы приближался; Василий успел убедить самого Павла Афанасьевича в необходимости отсрочки; потом услал его в Москву за покупками, а сам переписывался с петербургскими приятелями. Он хлопотал не столько из сожаленья к Ольге Ивановне, сколько из охоты и любви к хлопотам и тревогам… Притом Ольга Ивановна начала ему надоедать, и он уже не раз, после неистового взрыва страсти, поглядывал на нее, как, бывало, на Рогачева. Лучинов всегда оставался загадкой для всех; в самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствие

странного, почти южного пламени; и в самом бешеном разгаре страсти от этого человека веяло холодом. При других он по-прежнему поддерживал Ольгу Ивановну; но наедине он играл с ней, как кошка с мышью, или пугал ее софизмами, или тяжело и ядовито скучал, или, наконец, опять бросался к ее ногам, увлекал ее, как вихрь щепку… и не притворялся тогда влюбленным… но действительно сам замирал…

Однажды довольно поздно вечером Василий сидел один у себя в комнате и внимательно перечитывал последние, полученные им из Петербурга, письма, — как вдруг дверь тихонько заскрипела и вошла Палашка, горничная Ольги Ивановны.

— Что тебе надобно? — спросил ее Василий довольно сурово.

— Барышня изволит вас просить к себе.

— Теперь не могу. Ступай… Ну, что ж ты стоишь? — продолжал он, увидя, что Палашка не выходила.

— Барышня приказала сказать, что очень, дескать, нужно-с.

— Да что там такое?

— Сами изволите увидеть-с…

Василий встал, с досадой бросил письма в ящик и отправился к Ольге Ивановне. Она сидела одна, в углу — бледная и неподвижная.

— Что вам угодно? — спросил он ее не совсем приветно.

Ольга посмотрела на него и, содрогаясь, закрыла глаза.

— Что с вами? что с тобой, Ольга?

Он взял ее за руку… Рука Ольги Ивановны была холодна как лед… Она хотела заговорить… и голос ее замер. Бедной женщине не оставалось никакого сомнения насчет своего положения.

Василий несколько смутился. Комната Ольги Ивановны находилась в двух шагах от спальни Анны Павловны. Василий осторожно подсел к Ольге, целовал и грел ее руки, шепотом ее уговаривал. Она слушала его и молча слегка вздрагивала. В дверях стояла Палашка и тихонько утирала слезы. В соседней комнате тяжко и мерно стучал маятник и слышалось дыхание спящего. Оцепенение Ольги Ивановны разрешилось наконец слезами и глухими рыданиями. Слезы — что гроза: после них человек всегда тише. Когда Ольга Ивановна успокоилась несколько и лишь изредка судорожно всхлипывала, как ребенок, Василий стал перед ней на колени и ласками, нежными обещаниями успокоил ее совершенно, дал ей напиться, уложил ее и ушел. Всю ночь он не раздевался, написал два-

три письма, сжег две-три бумаги, достал золотой медальон с портретом женщины чернобровой и черноглазой, с лицом сладострастным и смелым, долго рассматривал ее черты и в раздумье ходил по комнате. На другое утро, за чаем, он с необыкновенным неудовольствием увидел покрасневшие, распухшие глаза и бледное, встревоженное лицо бедной Ольги. После завтрака предложил он ей прогуляться с ним по саду. Ольга пошла за Васильем, как послушная овечка. Когда же, часа через два, она вернулась из сада — на ней лица не было; она сказала Анне Павловне, что ей нездоровится, и слегла в постель. Во время прогулки Василий, с достодолжным раскаянием, объявил ей, что он тайно обвенчан, — он был такой же холостяк, как я. Ольга Ивановна не упала в обморок — падают в обморок только на сцене; но вдруг окаменела, хотя сама не только не надеялась выйти за Василья Ивановича, но даже как-то боялась об этом думать. Василий начал ей доказывать необходимость разлуки с ним и бракосочетания с Рогачевым. Ольга Ивановна глядела на него с немым ужасом. Василий говорил холодно, дельно, основательно; винил себя, каялся — но кончил все свои рассуждения следующими словами: «Прошедшего не вернешь; надобно действовать». Ольга потерялась совершенно; ей было страшно, стыдно; унылое, тяжкое отчаяние овладело ею; она желала смерти — и с тоской ожидала решения Василья.

— Надобно во всем сознаться матушке, — сказал он ей наконец. Ольга помертвела; ноги у ней подкосились.

— Не бойся, не бойся, — твердил Василий, — положись на меня, я тебя не оставлю… я все улажу… надейся на меня.

Бедная женщина посмотрела на него с любовью… да, с любовью и глубокой, хотя уже безнадежной, преданностью.

— Я все, все устрою, — сказал ей на прощанье Василий… и в последний раз поцеловал ее похолодевшие руки.

На другое же утро Ольга Ивановна только что встала с постели — дверь ее растворилась… и Анна Павловна появилась на пороге. Ее поддерживал Василий. Молча добралась она до кресел и села молча. Василий стал возле нее. Он казался спокойным; брови его сдвинулись, и губы слегка раскрылись. Анна Павловна, бледная, негодующая, разгневанная, собиралась говорить, но голос изменял ей. Ольга Ивановна с ужасом окинула взором свою благодетельницу, своего любовника: страшно замерло в ней сердце… она с криком упала

посреди комнаты на колени и закрыла себе лицо руками… «Так правда… правда? — прошептала Анна Павловна и наклонилась к ней… — Отвечайте же!» — продолжала она, с жестокостью схватив Ольгу за руку.

— Матушка! — раздался медный голос Василия. — Вы обещали мне не оскорблять ее.

— Я хочу… признавайся же… признавайся… правда ли? правда?

— Матушка… вспомните… — проговорил медленно Василий.

Это одно слово сильно потрясло Анну Павловну. Она прислонилась к спинке кресел и зарыдала.

Ольга Ивановна тихонько подняла голову и хотела было броситься к ногам старухи, но Василий удержал ее, поднял и посадил на другие кресла. Анна Павловна продолжала плакать и шептать несвязные слова…

— Послушайте, матушка, — заговорил Василий, — не убивайте себя! Беде помочь еще можно… Если Рогачев…

Ольга Ивановна вздрогнула и выпрямилась.

— Если Рогачев, — продолжал Василий, значительно взглянув на Ольгу Ивановну, — вообразил, что может безнаказанно опозорить честное семейство…

Ольге Ивановне стало страшно.

— В моем доме, — простонала Анна Павловна.

— Успокойтесь, матушка. Он воспользовался ее неопытностью, ее молодостью, он… Вы что-то хотите сказать? — прибавил он, увидя, что Ольга порывается к нему…

Ольга Ивановна упала в кресло.

— Я сейчас еду к Рогачеву. Я заставлю его жениться сегодня же. Будьте уверены, я не позволю ему насмехаться над нами…

— Но… Василий Иванович… вы… — прошептала Ольга.

Он долго и холодно посмотрел на нее. Она замолчала снова.

— Матушка, дайте мне слово не беспокоить ее до моего приезда. Посмотрите — она едва жива. Да и вам надобно отдохнуть. Надейтесь на меня; я отвечаю за все; во всяком случае, подождите моего возвращения. Повторяю вам — не убивайте ни ее, ни себя — и положитесь на меня.

Он приблизился к дверям и остановился.

— Матушка, — сказал он, — пойдемте со мной, оставьте ее одну, прошу вас.

Анна Павловна встала, подошла к иконе, положила земной поклон и тихо последовала за сыном. Ольга Ивановна молча и неподвижно проводила ее глазами. Василий проворно вернулся, схватил ее за руку, шепнул ей на ухо: «Надейтесь на меня и не выдайте нас, — и тотчас удалился… — Бурсье, — закричал он, спускаясь быстро вниз по лестнице, — Бурсье!..»

Через четверть часа он уже сидел в коляске с своим слугой.

В этот день старика Рогачева не было дома. Он поехал в уездный город закупать мухояру на кафтаны своим челядинцам. Павел Афанасьевич сидел у себя в кабинете и рассматривал коллекцию полинявших бабочек. Приподняв брови и вытянув губы, он осторожно переворачивал булавкой хрупкие крылышки «ночного сфинкса», как вдруг почувствовал у себя на плече небольшую, но тяжелую руку. Он оглянулся — перед ним стоял Василий.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — проговорил он не без некоторого изумления.

Василий посмотрел на него и сел перед ним на стул.

Павел Афанасьевич улыбнулся было… да взглянул на Василья, опустился, раскрыл рот и сложил руки.

— А скажите-ка, Павел Афанасьевич, — заговорил вдруг Василий, — скоро ли вы намерены сыграть свадебку?

— Я?.. скоро… конечно… я, с моей стороны… впрочем, как вы и ваша сестрица… я, с моей стороны, готов хоть завтра.

— Прекрасно, прекрасно. Вы человек весьма нетерпеливый, Павел Афанасьевич.

— Как это-с?

— Слушайте, — прибавил Василий Иванович, вставая, — я все знаю; вы меня понимаете, и я вам приказываю без отлагательства, завтра же жениться на Ольге.

— Позвольте, позвольте, однако ж, — возразил Рогачев, не поднимаясь с места, — вы мне приказываете? Я сам искал руки Ольги Ивановны, и мне нечего приказывать… признаюсь, Василий Иванович, я вас что-то не понимаю.

— Не понимаешь?

— Нет, право, не понимаю-с.

— Даешь ты мне слово жениться на ней завтра же?

— Да помилуйте, Василий Иванович… не сами ли вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Без вас она бы уже давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значат ваши угрозы, ваши настоятельные требования?

Павел Афанасьевич отер пот с лица.

— Даешь ли ты мне слово? говори: да или нет? — повторил с расстановкой Василий.

— Извольте… даю-с, но…

— Хорошо. Помни же… А она во всем призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да в чем призналась?

— Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павел Афанасьевич? Я ведь вам не чужой.

— В чем я притворяюсь? Я вас не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю. В чем могла Ольга Ивановна признаться?

— В чем? Вы мне надоели! Известно в чем.

— Убей меня бог…

— Нет, я тебя убью — если ты на ней не женишься… понимаешь?

— Как!.. — Павел Афанасьевич вскочил и остановился перед Васильем. — Ольга Ивановна… вы говорите…

— Ловок, братец, ты ловок, признаюсь, — Василий с улыбкой потрепал его по плечу, — даром что на вид смирен…

— Боже мой, боже!.. Вы меня с ума сводите… Что вы хотите сказать, объяснитесь, ради бога!

Василий нагнулся к нему и шепнул ему что-то на ухо.

Рогачев вскрикнул:

— Как?.. я?

Василий топнул ногой.

— Ольга Ивановна? Ольга?..

— Да… ваша невеста…

— Моя невеста… Василий Иванович… она… она… да я ж ее и знать не хочу! — закричал Павел Афанасьевич. — Бог с ней совсем! за кого вы меня принимаете? Обмануть меня — меня обмануть… Ольга Ивановна, не грешно вам, не совестно вам… (Слезы брызнули у него из глаз.) Спасибо вам, Василий Иванович, спасибо… А я ее и знать

теперь не хочу! не хочу! не хочу! и не говорите… Ах, мои батюшки — вот до чего я дожил! Хорошо же, хорошо!

— Полно вам ребячиться, — заметил хладнокровно Василий Иванович. — Помните, вы мне дали слово: завтра свадьба.

— Нет, этому не бывать! Полноте, Василий Иванович, опять-таки скажу вам — за кого вы меня принимаете? много чести: покорно благодарим-с. Извините-с.

— Как угодно! — возразил Василий. — Доставайте шпагу.

— Как шпагу… зачем шпагу?

— Зачем? А вот зачем.

Василий вынул свою французскую тонкую, гибкую шпагу и слегка согнул ее об пол.

— Вы хотите… со мной… драться?..

— Именно.

— Но, Василий Иванович, помилуйте, войдите в мое положение. Как же я могу, посудите сами, после того, что вы мне сказали… я честный человек, Василий Иванович, я дворянин.

— Вы дворянин, вы честный человек — так извольте же со мной драться.

— Василий Иванович!

— Вы, кажется, робеете, господин Рогачев?

— Я вовсе не робею, Василий Иванович. Вы думали запугать меня, Василий Иванович. Вот, дескать, я его пугну, он и струсит, он на все тотчас и согласится… Нет, Василий Иванович, я такой же дворянин, как и вы, хотя воспитания столичного не получил действительно, и запугать вам меня не удастся, извините.

— Очень хорошо, — возразил Василий, — где же ваша шпага?

— Ерошка! — закричал Павел Афанасьевич.

Вошел человек.

— Достань мне шпагу — там, ты знаешь, на чердаке… поскорей…

Ерошка вышел. Павел Афанасьевич вдруг чрезвычайно побледнел, торопливо снял шлафрок, надел кафтан рыжего цвета с стразовыми большими пуговицами… намотал на шею галстух… Василий глядел на него и перебирал пальцами правой руки.

— Так что ж? драться нам, Павел Афанасьевич?

— Драться так драться, — возразил Рогачев и торопливо застегнул камзол.

— Эй, Павел Афанасьевич, послушайся моего совета: женись… что тебе… А я, поверь мне…

— Нет, Василий Иванович, — перебил его Рогачев. — Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувечите; но чести своей я терять не намерен, умирать так умирать.

Ерошка вошел и трепетно подал Рогачеву старенькую шпажонку в кожаных, истресканных ножнах. В то время все дворяне носили шпаги при пудре; но степные помещики пудрились раза два в год. Ерошка отошел к дверям и заплакал. Павел Афанасьевич вытолкал его вон из комнаты.

— Однако, Василий Иванович, — заметил он с некоторым смущением, — я не могу сейчас с вами драться: позвольте отложить нашу дуэль до завтра; батюшки нет дома; да и дела мои, на всякий случай, не худо привести в порядок.

— Вы, я вижу, опять начинаете робеть, милостивый государь.

— Нет, нет, Василий Иванович; но посудите сами…

— Послушайте, — закричал Лучинов, — вы меня выводите из терпенья… Или дайте мне слово тотчас жениться, или деритесь… или я вас прибью палкой, как труса, понимаете?

— Пойдемте в сад, — отвечал сквозь зубы Рогачев.

Но вдруг дверь растворилась, и старая няня Ефимовна, вся растрепанная, ворвалась в комнату, упала перед Рогачевым на колени, схватила его за ноги…

— Батюшка ты мой! — завопила она, — дитятко ты мое… что ты такое затеял? не погуби нас, горемычных, батюшка! Ведь он тебя убьет, голубчик ты мой! Да прикажи нам только, прикажи, мы его, озорника этакого, шапками закидаем… Павел Афанасьевич, дитятко ты мое, побойся бога!

В дверях показалось множество бледных и встревоженных лиц… показалась даже рыжая борода старосты…

— Пусти меня, Ефимовна, пусти! — пробормотал Рогачев.

— Не пущу, родимый, не пущу. Что ты это, батюшка, что ты? Да что скажет Афанасий-то Лукич-то? Да он нас всех с бела света сгонит… А вы что стоите? Возьмите-ка незваного гостя под ручки, да и выпроводите его вон из дому, чтобы духа его не было…

— Рогачев! — грозно вскрикнул Василий Иванович.

— Ты с ума сошла, Ефимовна, ты меня позоришь, помилуй… — проговорил Павел Афанасьевич. — Ступай, ступай себе с богом, и вы пошли вон, слышите?..

Василий Иванович быстро подошел к растворенному окошку, достал небольшой серебряный свисток — слегка свистнул… Бурсье отозвался невдалеке. Лучинов тотчас обратился к Павлу Афанасьевичу:

— Чем же эта комедия кончится?

— Василий Иванович, я приеду к вам завтра — что мне делать с этой сумасшедшей бабой…

— Э! да я вижу, с вами нечего долго толковать, — сказал Василий и поднял было трость…

Павел Афанасьевич рванулся, оттолкнул Ефимовну, схватил шпагу и бросился через другие двери в сад.

Василий ринулся вслед за ним. Они вбежали оба в деревянную беседку, хитро раскрашенную на китайский манер, заперлись и обнажили шпаги. Рогачев когда-то брал уроки в фехтовании, но теперь едва сумел выпасть как следует. Лезвия скрестились. Василий видимо играл шпагой Рогачева. Павел Афанасьевич задыхался, бледнел и с смятеньем глядел в лицо Лучинову. Между тем в саду раздавались крики; толпа народа бежала к беседке. Вдруг Рогачеву послышался раздирающий старческий вопль… он узнал голос отца. Афанасий Лукич, без шапки, с растрепанными волосами, бежал впереди всех, отчаянно махая руками…

Сильным и неожиданным поворотом клинка, вышиб Василий шпагу из руки Павла Афанасьевича.

— Женись, брат, — сказал он ему, — полно тебе дурачиться.

— Не женюсь, — прошептал Рогачев, закрыл глаза и весь затрясся.

Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки.

— Не хочешь? — закричал Василий.

Рогачев покачал отрицательно головой.

— Ну, так черт же с тобой!

Бедный Павел Афанасьевич упал мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему в сердце… Дверь затрещала, старик Рогачев ворвался в беседку, но Василий уже успел выскочить в окно…

Два часа спустя вошел он в комнату Ольги Ивановны… Она с ужасом бросилась к нему навстречу… Он молча поклонился ей, вынул шпагу и проколол, на месте сердца, портрет Павла Афанасьевича. Ольга вскрикнула и в беспамятстве упала на пол… Василий отправился к Анне Павловне. Он застал ее в образной. «Матушка, — проговорил он, — мы отомщены». Бедная старуха вздрогнула и продолжала молиться.

Через неделю Василий уехал в Петербург — и через два года вернулся в деревню, разбитый параличом, без языка. Он уже не застал в живых ни Анны Павловны, ни Ольги — и умер скоро сам на руках у Юдича, который кормил его, как ребенка, и один умел понимать его несвязный лепет.

1846

---

notes

Примечания

1

Двоюродная бабушка *(фр.)*.

2

Двоюродного дедушки *(фр.)*.

3

Для храбрости (от *фр.* contenance).

4

Тонкость обращения *(фр.)*.